

**Куприн Александр Иванович**

**Штабс-капитан Рыбников**

Москва  
Книга по Требованию

УДК 82-3  
ББК 84

**Куприн Александр Иванович**

Штабс-капитан Рыбников / Куприн Александр Иванович – М.: Книга по Требованию, 2011. – 42 с.

**ISBN 978-5-458-03434-0**

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в городе Наровчат Пензенской губернии. Учился сначала в кадетском корпусе, а затем в Александровском училище. В 1890 был зачислен в пехотный полк, в котором прослужил 4 года. Выйдя в отставку, поселился в Киеве, позднее переехал в Петербург. Первый свой рассказ "Последний дебют" Куприн опубликовал в 1889 году в "Русском сатирическом листке". Позднее он сотрудничал с газетами "Жизнь и искусство" и "Киевское слово". Приехав в Петербург, Куприн становится редактором сначала "Журнала для всех", а позднее "Мира Божьего". В Петербурге писатель публикует свои наиболее известные вещи: "Поединок", "Гранатовый браслет". Повести "Молох" и "Олеся" вышли в Киеве. В 1919 году Куприн эмигрировал в Париж. Там вышел в свет роман "Жаннета", была написана повесть "Юнкера". В 1937 году Куприн вернулся на родину и 25 августа 1938 года умер.

**ISBN 978-5-458-03434-0**

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Александр Куприн  
Штабс-капитан Рыбников



# I

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев пронеслись по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:

«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».

Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день – на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уже никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверными словами в карман не лазил.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромо́й офицер, странно болтливый, растрепанный и не особо трезвый, одетый в общearмейский мундир со сплошь красным воротником – настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по несколько раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унижительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных

и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но – сто чертей! – проклятая нога не хочет заживать... Вообразите себе – нагноение! Да вот, посмотрите сами. – И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате, – он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен, и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:

– Пожалуйста... не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ... Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.

Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски-искренного в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечески, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.

Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался со своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление.

Нередко чистенькие, выхолненные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:

– И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства... Бедная Россия!..

В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи – портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.

Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.

Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.

И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.

## II

Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный рестораник «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.

Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.

– Пожалуйста, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.

И толстый, низко стриженный рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.

– Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйста-с. Все свои-с.

Как и всегда, братья писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать расстегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.

Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общепармеевском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной бесшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева

зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.

Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:

– Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать – шестая великая держава. Что? Не правда?

При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.

«Где я его видел? – мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. – Удивительно кого-то напоминает. Кого?»

Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера – Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двенадцатые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.

Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:

– Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.

Офицер прокашлялся, сплюнул вбок на пол.

«Хам!» – подумал Щавинский, поморщившись.

– Русский солдат – это, брат, не фунт изюму! – воскликнул

хрипло Рыбников, громыхая шашкой. – Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом... Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков и приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц... А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.

– Вы, генерал, что-то о съемках начали, – напомнил Матаня.

– Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнул я сегодня. – Рыбников метнул взгляд на Щавинского. – Да, так вот-с... Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков – лихое войско, черт его побери... Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребяташки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на кроки: «Деревня Бутунду». Опять едут – опять деревня. «Название?» – «Бутунду». – «Как? Еще Бутунду?» – «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит, – Иванов седьмой, а все-таки дурак!»

– А-а! Вы знаете Чехова? – спросил Щавинский.

– Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово... Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак...

– Вы с ним там на Востоке виделись? – быстро спросил Щавинский.

– Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем... Хоть ты и седьмой, а...

Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они ослаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видел и не мог определить – какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной,

горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.

В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие, жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара... Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица – злобного, насмешливого, умного, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее – лица, принадлежащего существу с другой планеты.

«Точно я его во сне видел», – подумал Щавинский.

Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.

Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко.

– Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я, – он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. – Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врага. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?

Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:

– И, не считаясь, сдается в плен.

Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.

– Ничего не поделаешь – божья воля. Недаром говорится в половице: нашла коса на камень. Что? Не верно? – Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить! – Мы всё авось, да кое-как, да как-нибудь – тят да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают, как машины. Макаки, а на их

стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?

– Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? – спросил Щавинский.

У Рыбникова опять задержались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.

– Кто знает! – воскликнул штабс-капитан. – Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова... А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?

Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли в это время кофе.

– Не хотите ли рюмочку коньяку? – предложил он штабс-капитану.

Рыбников опять слегка похлопал его по колену.

– Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? – воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.

«Притворяется», – подумал Щавинский.

Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.

– Может быть, пива? Красного вина?

– Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси!

– Сельтерской воды?

Штабс-капитан оживился.

– Ах, да, да! Вот именно... именно сельтерской... стаканчик не откажусь.

Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.